

ГЕРАНЬ НА ПОДОКОННИКЕ

Психолог, который ушёл

18+



РОМАН
МИХАИЛ ДЯГИЛЕВ

18+

Михаил Дягилев

**Герань на подоконнике.
Психолог, который ушёл**

«Автор»

2026

Дягилев М.

Герань на подоконнике. Психолог, который ушёл / М. Дягилев — «Автор», 2026

Дмитрий умеет слышать чужую боль, как никто. Он начинал в сыром подвале на Чистых прудах, а через восемнадцать лет стал одним из самых известных психологов страны: книги, эфиры, собственный метод. Он знает правильные слова для любого человека — кроме себя. Однажды в понедельник администратор находит его кабинет незапертым: на столе — дневник и ключи, на подоконнике — только что политая герань. Роман о человеке, который всю жизнь заслуживал любовь, — и о том, что бывает, когда понимать становится легче, чем чувствовать.

© Дягилев М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
ЧАСТЬ I. ЖИВОЕ ПЛАМЯ	6
Глава 1. Подвал	7
Глава 2. Метод	16
Глава 3. Признание	24
ЧАСТЬ II. РЕНТГЕН	30
Глава 4. Минимализм	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Герань на подоконнике. Психолог, который ушёл

Пролог

В понедельник Полина пришла к девяти, как приходила все девять лет, с бумажным стаканчиком кофе из кофейни на углу и связкой ключей, которую по привычке доставала из сумки ещё на лестнице. Вставила ключ в замок и попыталась повернуть, но ключ не поддался. Дверь была не заперта.

Она замерла перед дверью. Дмитрий Вячеславович запирает кабинет всегда, и не просто запирает, а ещё дважды дёргал ручку. Эта его привычка всегда вызывала у Полины улыбку. Сейчас же она вызвала удивление и смутное, ещё не оформившееся беспокойство.

Она толкнула дверь и вошла.

В кабинете было прибрано, как всегда: стеклянный стол, ровные полки, два кресла, повернутые друг к другу под одинаковым углом, жалюзи, опущенные ровно наполовину. Всё стояло на своих местах, и всё же в комнате что-то было не так — Полина почувствовала это раньше, чем успела понять. Пахло мокрой землёй. Она не сразу сообразила откуда, пока не заметила герань на подоконнике. Вода ещё стояла в поддоне — герань полили так щедро, как будто на годы вперёд.

На столе лежали две вещи. Тетрадь в потёртой обложке, которую Полина сто раз видела у него в руках и ни разу — вот так, на виду, посреди пустого стола. И связка ключей от кабинета. Его связка, с маленьким жестяным мотоциклом на кольце, который ему когда-то подарил сын.

Полина поставила кофе на край стола и набрала его номер. Гудки шли долго, ровно, один за другим. Она сбросила и набрала ещё раз. Потом ещё.

В десять пришла первая клиентка — молодая женщина, записавшаяся месяц назад. Увидев в пустом кабинете только Полину — с растерянным лицом и телефоном в руке, из которого доносились длинные гудки, — она остановилась в дверях и тихо спросила:

— Всё в порядке?

Полина не знала, что ответить.

Тетрадь она так и не открыла. Есть вещи, которые не тебе открывать.

ЧАСТЬ I. ЖИВОЕ ПЛАМЯ

2006–2011

Глава 1. Подвал

2006

Ключ проворачивался в замке с трудом, будто дверь сомневалась, стоит ли впускать его в следующую жизнь. Дмитрий толкнул створку плечом, и она поддалась, отозвавшись долгим скрипом несмазанных петель, — и в этом скрипе, стоя на пороге сырого полуподвала на Чистых прудах, он слышал только одно: свободу.

Пахло плесенью, старой штукатуркой и почему-то, совершенно необъяснимо, яблоками. Дмитрий втянул этот запах, как пробуют вино, и улыбнулся своей единственной слушательнице — риелторше в потёртом деловом костюме, которая уже минут пять с тревогой поглядывала на часы, явно жалея, что согласилась показывать этот объект в субботу утром.

— Ну как? — спросила она тоном, каким спрашивают безнадёжно больного, не хочет ли он ещё воды.

— Беру, — сказал Дмитрий.

Помещение было катастрофой. Низкие своды подвала, два крошечных оконца под самым потолком, сквозь которые с улицы проникал не столько свет, сколько его воспоминание. Стены в разводах старых протечек, похожих на карту неизвестного материка, который никто не собирался открывать. Паркет местами вздулся коробом и скрипел под ногами на разные голоса. Розетка в углу вываливалась из стены, обнажив пучок проводов, похожий на нерв, который забыли зашить.

Но в центре потолок поднимался почти на три метра — редкость для подвала, а из узкого коридора открывался вид на маленький внутренний дворик, где рос старый кривой тополь, упрямо живой, вопреки асфальту, мусорным бакам и машинам, которые парковали прямо у его корней. И ещё — цена. Цена была такой, что Дмитрий мог себе это позволить: в двадцать пять лет, три месяца как получивший сертификат психиатра-психотерапевта, без единого пациента на горизонте и с долгом за ординатуру, который отец так и не помог закрыть. Просто потому, что отца не было — ни рядом, ни в принципе. Одиннадцать лет назад он вышел вечером из квартиры и тихо закрыл за собой дверь. Без скандала, без записки, без единого слова на прощание. Дима сидел тогда на кухне над недоделанной алгеброй и слышал, как щёлкнул замок, — и почему-то запомнил именно этот звук, а не лицо отца.

Договор он подписал прямо на капоте риелторской машины. Ветер трепал листы, норвил вырвать их из рук, ручка мазала на холоде, а Дмитрий думал только одно: здесь. Именно здесь.

Мать он не позвал смотреть кабинет. Не потому, что не хотел, а потому, что заранее знал, что услышит. И всё равно услышал — тем же вечером, по телефону, когда не выдержал и рассказал.

— Ты мог бы работать в нормальной клинике, — сказала она ровным, терпеливым голосом, каким всегда говорила о его выборах, будто объясняла очевидное неразумному ребёнку. — С зарплатой. С коллективом. А ты снимаешь подвал, чтобы сидеть там одному и слушать, как чужие люди жалуются на жизнь. Это разве работа для мужчины, Дима?

— Это работа, мам, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, а не оправдывающе. — Просто она устроена иначе, чем ты привыкла.

— Я привыкла, что мужчина обеспечивает семью. А ты собираешься ковыряться в чужих головах за копейки, потому что тебе, видите ли, интересно.

Он не стал спорить. Спорить с матерью было всё равно что спорить с погодой: можно злиться, можно мокнуть под дождём, но переубедить облака было не в его силах. Он понял это ещё в четырнадцать, когда за отцом щёлкнул замок, а мать вместо горя выбрала броню — и с тех пор броня стала единственным языком, на котором она умела разговаривать и с миром, и

с сыном. Может быть, именно поэтому его так тянуло туда, где под чужой бронёй ещё билось что-то живое. Может быть, он надеялся однажды научиться её снимать — сначала с чужих людей, а потом, если повезёт, и с собственной матери.

Ремонт он делал сам, вечерами и по выходным, потому что денег на бригаду не было, а помощи ждать было неоткуда. Сам отскребал старую краску шпателем, пока на ладонях не вздулись и не лопнули мозоли. Сам штукатурил, путаясь в пропорциях, сверяясь с потрёпанной брошюрой «Ремонт своими руками», купленной в переходе у метро, и дважды переделывая одну и ту же стену, потому что в первый раз штукатурка пошла трещинами, а во второй — пузырями. Краску выбрал тёплую, охристую. В магазине банка так и называлась: «Тепло дома». Дурацкое название, но оно почему-то показалось ему важным, почти обещанием.

Пока он красил, на пороге всё чаще появлялась соседка с первого этажа, Анна Ильинична, — сухая старушка в мужской вязаной кофте, с внимательными глазами бывшей учительницы. Сначала она просто стояла в дверях и смотрела, как он водит валиком по стене, потом стала приносить чай в эмалированной кружке со сколом, а однажды, оглядев почти готовую комнату, сказала:

— Психолог, значит. Ну-ну. У нас в доме раньше сапожник тут сидел. Тоже, если подумать, людям помогал — чтобы ногам не больно было.

— Вот и я примерно о том же, — засмеялся Дмитрий.

На следующий день она принесла три горшка с геранью и сама, не спрашивая разрешения, расставила их на подоконнике под самыми оконцами.

— На счастье, — сказала она. — Если, конечно, не засохнет: света-то у вас нет. Ухаживайте — глядишь, и приживётся.

Герань прижилась. Дмитрию нравилось думать, что выжила она не благодаря удаче, а назло обстоятельствам, — упрямо, как тот тополь во дворе. Подходящая компания для кабинета, где людям предстояло учиться тому же.

Мебель он собирал по объявлениям и на блошиных рынках. Старый кожаный диван, потёртый, продавленный посередине, но невероятно уютный, купил у пожилой пары, которая переезжала в квартиру поменьше и не могла увезти с собой всю прошлую жизнь; хозяйка, прощаясь с диваном, погладила его по подлокотнику, как гладят собаку, которую отдают в чужие руки. Два разномастных кресла притащил вместе с однокурсником на его раздолбанной «шестёрке»: одно с деревянными подлокотниками, отполированными чужими ладонями до блеска, другое больше походило на стул, который однажды решил стать креслом, но так и не довёл дело до конца. Книжные полки сколотил сам, кривовато, но крепко, и всё же уже в первый месяц они прогнулись под тяжестью Ялома, Мэй, Франкла и Роджерса, исчерканных пометками ещё со студенчества, вперемешку с Довлатовым, Хемингуэем и сборником Бродского с треснувшим корешком — книгами, которые он читал не для профессии, а для души.

К концу лета помещение перестало быть подвалом с протечками и стало местом. Тёплым, немного нелепым, живым до странности местом, где пахло кофе — старая, но исправная кофемашина у входа была единственной серьёзной тратой, — книгами и по-прежнему, едва уловимо, яблоками.

Табличку на дверь он вешал дрожащими от волнения руками:

«Дмитрий Вячеславович. Психотерапевт. Приём по предварительной записи»

Буквы он вырезал сам из самоклеящейся плёнки, и получились они немного неровными. Ему казалось, что эта неровность и есть правда о нём: неидеальный, неготовый, но настоящий.

Дневник, 14 сентября

Сегодня повесил табличку. Руки тряслись, как на втором курсе перед экзаменом по анатомии, и это смешно, потому что все мои экзамены давно позади: ординатура, супервизии, зачёты — я сдал всё, что только можно было сдать. Но там проверяли, что я знаю. А здесь,

кажется, будут проверять другое: хватит ли у меня смелости просто сидеть напротив человека и не прятаться от того, что он принесёт. И к этому экзамену учебников нет.

Мама сказала, что это не работа для женщины. Я весь вечер думаю: а что тогда работа для женщины? То, что можно посчитать и положить в конверт с зарплатой? Но как посчитать час, когда сидишь рядом с чужой болью и не убегаешь от неё? В её словаре для этого нет слова. В моём, если честно, тоже нет. Есть только табличка на двери, и буква «Д» на ней вышла кривая. Хотел переклеить, но потом решил — пусть остаётся.

Страшно. И, кажется, именно поэтому правильно. Наверное.

Первый человек пришёл не через неделю и не через месяц, а на семнадцатый день абсолютной, оглушительной тишины.

Эти семнадцать дней Дмитрий приходил в кабинет к девяти утра, как на службу. Варил кофе, протирал пыль с полки, на которых она не успевала скопиться, переставлял кресла на пару сантиметров и обратно, поливал герань и садился ждать. Телефон на столе молчал так основательно, что пару раз он снимал трубку, проверяя, есть ли гудок. Гудок был. Он пересчитал все трещины на потолке — их оказалось сорок три — и заново перечитал «Экзистенциальную психотерапию» Ялома от корки до корки. Анна Ильинична, заглядывая с чаем, деликатно не спрашивала, как идут дела, и от этой деликатности становилось только хуже.

Дневник, 25 сентября

Одиннадцатый день — и никого. Сегодня я пересчитал трещины на потолке во второй раз, потому что в первый мне показалось, что я сбился. Не сбился: их по-прежнему сорок три, и я, кажется, уже знаю каждую в лицо.

Ялом пишет, что пациента нельзя торопить. Я читаю это и думаю: а меня кто-нибудь поторопит? Хоть один человек?

Вечером звонила мама. Я посмотрел на экран и не взял трубку, потому что знал: она спросит, сколько у меня клиентов, а мне пока нечего ей ответить.

Её звали Лена. Двадцать три года, студентка последнего курса, по вечерам — администратор в фитнес-клубе. Записалась через сарафанное радио: подруга подруги слышала о «том странном психологе в подвале, который берёт недорого». В кабинет она вошла так, как входят к зубному врачу, который собирается вырвать не зуб, а что-то гораздо более важное, — осторожно, боком, не отпуская ремешок сумки.

— У меня, наверное, что-то не так с сердцем, — сказала она после короткого сухого приветствия, всё ещё стоя в дверях и не решаясь сесть. — Врачи говорят, что всё в порядке. Кардиограмма в порядке. Но бывает, что я вдруг не могу дышать, сердце колотится так, что я думаю: всё, сейчас умру, прямо здесь, посреди улицы. Один раз это случилось в метро. Я вышла на первой попавшейся станции и три часа не могла зайти обратно в вагон. Просто сидела на скамейке и тряслась.

Дмитрий узнал картину сразу: панические атаки, классический, почти хрестоматийный случай. В голове мгновенно выстроился алгоритм — психообразование, дыхательные техники, работа с катастрофизацией мыслей, возможно, экспозиция для метро. Всё было понятно, всё укладывалось в учебник.

Но начал он не с алгоритма.

— Сколько вы просидели на той скамейке?

— Три часа, — повторила она, и голос у неё дрогнул. — Три часа, Дмитрий Вячеславович. Люди, наверное, думали, что я сумасшедшая.

— Три часа — это очень долго сидеть одной, когда кажется, что ты умираешь, — сказал он тихо. — Это, должно быть, было невыносимо страшно.

Лена вдруг всхлипнула — резко, будто внутри у неё что-то оборвалось. Наверное, до этого дня ей говорили только «возьми себя в руки» и «это просто нервы». Она опустилась на диван, прямо в его продавленную середину, и первые пятнадцать минут сессии прошли не в диагностике. Дмитрий сидел напротив, через журнальный столик, и ничего не пытался исправить. Просто был рядом и протягивал ей бумажные салфетки, пока она плакала, а за окном под потолком мелькали ноги прохожих.

Только потом, когда слёзы стихли, он осторожно спросил:

— Что вы почувствовали в теле прямо перед тем, как накатил страх?

Дальше пошла работа — методичная, профессиональная, всё как учили.

Лена приходила по четвергам всю осень. Прогресс был неровным. Были недели, когда она влетала в кабинет окрылённая, ещё с порога, не сняв куртку: «Я проехала весь эскалатор на „Лубянке“ и не запаниковала! Весь, до самого верха!» — и Дмитрий радовался вместе с ней так искренне, что потом, оставшись один, немного стеснялся этой радости. А были недели отката, когда паника возвращалась с новой силой, словно мстила за временную победу, и Лена сидела на диване, сжавшись, и говорила, что всё бесполезно, что она такой родилась и такой останется.

После тяжёлых четвергов он подолгу не уходил из кабинета. Сидел в полутьме на продавленном диване, где час назад плакала Лена, и прокручивал сессию заново: что сказал, что мог сказать лучше, не пропустил ли чего-то важного. Домой он уносил с собой её страх, а заодно и страхи остальных клиентов, и к концу октября голова почти перестала отключаться даже ночью. Именно тогда, почти случайно, в его жизни появился мотоцикл.

Он ехал домой на автобусе после особенно тяжёлого дня: три клиента подряд, у одного серьёзный кризис, требовавший полной концентрации и постоянного балансирования между сочувствием и профессиональной устойчивостью. К вечеру голова гудела так, словно внутри неё несколько часов подряд работала стройка. Он смотрел в грязное автобусное окно на мокрую от осеннего дождя Москву и снова, в который раз за этот месяц, перебирал в голове формулировки вопросов, которые уже прозвучали и которых было не вернуть.

Мне нужно что-то, что заставит голову замолчать, подумал он тогда.

На следующий день, проходя мимо маленького мотомагазина на окраине, он увидел в витрине подержанный «Триумф» — с облупившейся местами краской, явно повидавший не одного хозяина, но с рабочим двигателем и честной, немного хулиганской осанкой машины, которая знает себе цену, несмотря на возраст.

— Сколько? — спросил он, ещё не отдавая себе отчёта, зачем ему это.

Продавец, немолодой мужчина с обветренным лицом заядлого байкера, назвал сумму, которая почти равнялась трёхмесячному доходу от кабинета. Дмитрий взял кредит. Банк не слишком верил в перспективы психотерапевта-одиночки из подвала, зато охотно давал деньги под залог самого мотоцикла.

Первая поездка случилась тем же вечером. Дмитрий выкатил мотоцикл на пустеющую в темноте набережную, надел шлем, который продавец отдал ему почти даром, «за компанию к железу», и, дрожа от страха и восторга одновременно, тронулся с места. Скорость нарастала осторожно, потом увереннее, фонари поплыли мимо жёлтыми пятнами, и где-то на третьей минуте случилось то, ради чего, как ему казалось, стоило влезать в долги: голова замолчала. Полностью. Впервые за много недель в ней не крутились ни диагнозы, ни формулировки, ни тревога за клиентов, ни голос матери, объясняющий, что это не работа для мужчины. Была только дорога, ветер, гул двигателя и полная, звенящая тишина внутри.

Он остановился на смотровой площадке над рекой, снял шлем и рассмеялся — один, в темноте, без всякой причины. Внутри было только чистое облегчение.

Дневник, 28 октября

Купил мотоцикл, причём в кредит. Совершенно неразумная трата, и маме я решил ничего не говорить, но не выдержал и сказал — и получил сорок минут лекции о мужчинах, которые не думают о будущем. Удивительно, но мне впервые было почти всё равно.

Если бы Виктор Аркадьевич узнал, он бы, наверное, прищурился и спросил: «А от чего ты едешь, Дима?» Я бы ответил, что ни от чего, просто еду, потому что нравится. А он бы сказал своё любимое «ну-ну» и замолчал так, что пришлось бы думать дальше самому.

Ну-ну.

На шестой сессии Лена пришла бледная, с заметно дрожащими руками, и так и не сняла куртку.

— Сегодня утром было хуже всего, — сказала она. — Я думала, что реально умираю. Легла на пол в ванной, потому что боялась упасть. И знаете, что я подумала в тот момент? Что даже если умру — никто не заметит сразу. Я живу одна. Меня найдут через несколько дней.

Она произнесла это буднично, как факт, и в кабинете вдруг стало очень тихо — так тихо, что было слышно, как во дворе шуршит по асфальту метла дворника.

Всё, чему его учили, требовало сейчас перейти к оценке суицидального риска: прямые вопросы, ответы, запись. Он задаст эти вопросы — это его ответственность как врача, и он знал их наизусть. Но прежде он позволил себе сказать то, чего в учебниках не было:

— Лена, то, что вы сейчас сказали, что никто не заметит несколько дней... Это очень одиноко звучит. Не только страшно. Одиноко.

Она посмотрела на него так, будто он произнёс вслух что-то запретное, о чём не принято говорить.

— Да, — прошептала она. — Именно одиноко. Я боюсь не столько смерти, сколько того, что, если я умру, этого никто не заметит. Что я просто исчезну, и мир даже не дрогнет.

Потом были вопросы, которые нужно было задать, и ответы, которые нужно было услышать и записать. Потом долгий, тяжёлый, но важный разговор — про одиночество, про то, что паника, может быть, была не только про сердце и не только про метро, а про застарелый страх быть незамеченной, лишней, невидимой. Про мать Лены, которая всегда была слишком занята собственными несчастьями, чтобы заметить дочь.

К концу сессии стало ясно, что прямой опасности нет, но встречаться нужно чаще. Лена встала, застегнула куртку, взяла сумку и задержалась у двери.

— Спасибо, что не испугались того, что я сказала.

— Я испугался, — честно ответил он. — Но остаться рядом было важнее, чем не бояться.

Дневник, 2 ноября

Весь вечер думаю об одном: придёт ли она в четверг? А если не придёт — могу ли я позвонить ей сам? Не нарушу ли этим рамку, о которой нам столько твердили? Или рамка здесь вообще ни при чём, когда человек говорит тебе, что его найдут только через несколько дней? Спрошу у Виктора Аркадьевича на супервизии.

Руки до сих пор ледяные. Выпил три кофе подряд, чтобы согреться, и теперь, конечно, не усну.

Когда Лена уходила, она обернулась в дверях и сказала: «Знаете, до сих пор мне казалось, что я никому не важна. Сегодня так не казалось». Записываю дословно, чтобы не потерять ни слова. Мне двадцать пять, я снимаю подвал за копейки, у меня три клиента, и мама считает, что я занимаюсь ерундой. Но ради этих слов стоило снимать подвал.

Виктор Аркадьевич появился в жизни Дмитрия ещё во время ординатуры. Седой, невысокий, лет шестидесяти пяти, всегда в старомодных, но безукоризненно сидящих твидовых пиджаках, он был одним из последних живых носителей московской экзистенциальной школы

— учеником учеников тех, кто когда-то переписывался с самим Роджерсом. Раз в две недели он собирал группу молодых терапевтов у себя дома, в старой арбатской квартире, заставленной книгами так плотно, что они стояли в два ряда, лежали стопками на подоконниках и даже на крышке пианино, на котором никто не играл. Там пахло трубочным табаком, хотя курить он бросил давно, и было так же тесно и уютно, как в подвале на Чистых прудах. Группа рассаживалась кто где: худенькая Ира с вечным блокнотом устраивалась на пуфе у двери, двое серьёзных ребят из института занимали диван, а Дмитрий обычно садился на пол, прислонившись спиной к книжному шкафу.

— Расскажи мне про случай, который тебя пугает, — говорил Виктор Аркадьевич вместо приветствия, усаживаясь в старое кресло с продавленным сиденьем.

Не «расскажи про успех». Про страх. И этого вопроса Дмитрий ждал больше, чем любых похвал.

В тот вечер он рассказал про Лену — не называя имени, разумеется, но со всеми подробностями своего смятения: со страхом, с решением сначала сказать про одиночество и только потом переходить к протоколу. Виктор Аркадьевич слушал, не перебивая, покуривая невидимую трубку — жест, оставшийся у него с прежних лет, — а когда Дмитрий закончил, долго молчал, так долго, что Ира перестала писать и подняла глаза.

— Ты сделал правильно, — сказал он наконец. — Не потому, что обошёл протокол. Ты его выполнил. А потому, что не спрятался за ним. Знаешь, в чём беда большинства молодых терапевтов? Особенно способных. Особенно тех, кто быстро учится.

— В чём? — спросил Дмитрий, чувствуя, как внутри что-то сжимается — то ли от предвкушения важного, то ли от страха услышать о себе неприятное.

— Они учатся видеть человека насквозь быстрее, чем учатся оставаться с ним рядом. Диагноз — удобная штука. Он объясняет. Он наводит порядок в хаосе. Он даёт тебе, терапевту, иллюзию контроля над чужой болью. Но диагноз — это ещё и стена. Ты смотришь на человека и вместо лица видишь код: F41.0, паническое расстройство. И чем лучше ты становишься как специалист, тем соблазнительнее эта стена. Она защищает тебя от того, чтобы по-настоящему испугаться вместе с клиентом. Не прячься за пониманием раньше времени, Дима. Понимание должно приходить после того, как ты остался. Не вместо.

Дмитрий записал эту фразу в блокнот, который всегда носил с собой на супервизии, и обвёл её в рамку.

— А как понять, — спросил он, — когда диагноз — инструмент, а когда укрытие?

Виктор Аркадьевич улыбнулся грустно, как улыбаются люди, которые знают ответ, но знают и то, что словами его до конца не передать.

— Спроси себя после сессии: ты чувствовал что-нибудь рядом с этим человеком — или только понимал? Если только понимал, значит, спрятался. Понимание без чувства — это побег, переодетый в мудрость.

— А если она не придёт в следующий раз, — спросил Дмитрий, — можно ей позвонить?

— Можно. Если позвонишь, чтобы легче стало ей, а не тебе.

Лена пришла в четверг. Звонить не понадобилось.

Она пришла даже чуть раньше обычного, с мокрым от дождя зонтом, и ещё с порога сказала, что всю неделю думала над его словами про одиночество. Дмитрий слушал её и чувствовал, как понемногу отпускает напряжение, державшее его все эти дни. Вечером он ушёл из кабинета вовремя, а в пятницу позвонил Серёга, тот самый однокурсник с «шестёркой», объявил, что Дмитрий превращается в отшельника и что в субботу они идут на квартирник. Возражения не принимались.

С Катей он познакомился совсем не так, как рассчитывал бы, если бы вообще позволял себе на что-то подобное рассчитывать в те месяцы, когда всё его время и все силы уходили на кабинет.

Квартирник был в старом доме на Покровке. Хозяин квартиры, немолодой гитарист с бородой до середины груди, раз в месяц звал к себе всех, кто дойдёт, и доходило человек тридцать: сидели на полу, на подоконниках, на перевёрнутых ящиках из-под овощей, пили дешёвое вино из чайных чашек и разномастных стаканов. Дмитрий пришёл прямо после работы, всё ещё в костюме, деревянный после многих часов в кресле напротив чужой боли, и первые полчаса простоял у стены с чашкой, не зная, куда себя деть.

У самодельной сцены — старого ковра, на котором стоял стул гитариста, — пританцовывала молодая женщина с растрёпанными выющимися волосами, в широком свитере, испачканном на манжете чем-то похожим на масляную краску. Гитара откровенно фальшивила, а она танцевала с таким азартом, что сразу было ясно: ей совершенно всё равно, как это выглядит со стороны.

— Вы преподаёте музыку? — спросил Дмитрий, подойдя ближе, скорее чтобы завязать разговор, чем по какой-то другой причине.

— С чего вы взяли? — Она обернулась, глаза у неё смеялись.

— Не знаю. У вас вид человека, который слышит музыку иначе, чем остальные.

— А у вас вид человека, который слышит людей иначе, чем остальные, — парировала она мгновенно, без паузы, словно давно ждала повода сказать это первому встречному. — Вы кто, психолог?

Дмитрий рассмеялся — искренне, не из вежливости.

— Как вы догадались?

— У вас лицо человека, который постоянно кого-то анализирует. Даже сейчас меня анализируете, да?

— Немного, — честно признался он. — Профессиональная деформация. Но сейчас, если честно, я в основном думаю, что вы прекрасно танцуете под откровенно фальшивую гитару.

Катя расхохоталась — громко, не заботясь, кто на неё смотрит, так что на них обернулись. После дней, проведённых напротив людей, скованных страхом, тревогой и стыдом, её смех был как распахнутое настежь окно в душной комнате. Она преподавала музыку детям в маленькой частной школе и параллельно писала маслом — крупными размашистыми мазками, которые, по её собственному признанию, «редко кому нравятся, кроме меня самой, и меня это полностью устраивает».

Когда гитарист объявил перерыв и ушёл курить на балкон, они вышли на лестничную площадку и проговорили до трёх часов ночи, сидя на широком подоконнике у тёплой чугунной батареи, пока за дверью квартиры постепенно стихали голоса. Катя рассказывала про своих учеников — про то, как ей нравится смотреть, когда ребёнок, у которого «не получалось», вдруг ловит правильную интонацию и у него расцветает лицо. Дмитрий рассказывал про Лену — без имени, без деталей, но с той же интонацией открытия, которую Катя вложила в рассказ про детей.

— Знаете, что мне в вас нравится? — сказала Катя, когда в квартире за дверью стихла последняя гитара. — Вы говорите про свою работу так, будто она вас самого спасает. А не только тех, кого вы лечите.

Дмитрий засмеялся, чтобы не отвечать.

Дневник, 26 ноября

Познакомился с удивительной девушкой. Её зовут Катя, она художница и учит детей музыке, у неё на рукаве пятно масляной краски, и смеётся она так, что оборачивается вся комната. Мы проговорили до трёх ночи на подоконнике у батареи на чужой лестнице, и я не помню, чтобы когда-нибудь так легко разговаривал с человеком, которого знаю всего несколько часов.

Она сказала одну вещь, а я засмеялся и ничего не ответил. Думаю над этой фразой уже второй день, но записывать её не стану — даже сюда. Сам не знаю почему.

К концу декабря подвал на Чистых прудах жил полной, тёплой, немного хаотичной жизнью. На полках прибавилось книг, на журнальном столике постоянно копились чашки из-под кофе, которые Дмитрий забывал убирать между сессиями, а в углу у двери поселился зонт, забытый кем-то из клиентов ещё в октябре и так никем и не востребованный. Герань на подоконнике зацвела — вопреки скудному подвальному свету, маленькими розовыми цветами, — и Лена, заметив это на одной из декабрьских сессий, засмотрелась на неё, а потом сказала:

— Знаете, эта герань похожа на меня. Света совсем мало, а она всё равно цветёт.

Вечером он записал её фразу в дневник слово в слово, ничего не прибавляя.

Клиентов становилось больше: сарафанное радио работало лучше любой рекламы. К Лене прибавились ещё трое — женщина средних лет, переживающая развод, студент, который никак не мог прижиться в Москве после переезда из маленького города, и, в последнюю неделю декабря, новый клиент. Он позвонил в половине девятого вечера, когда Дмитрий уже собирался уходить.

— Игорь, — представился голос в трубке, коротко и по-деловому, без отчества и без лишних слов. — Мне тридцать, я менеджер в фармацевтической компании. Хотел бы записаться на консультацию.

— Что вас беспокоит?

Голос на секунду замялся, будто искал подходящую строчку в отчёте.

— У меня всё в порядке. Но что-то мешает мне быть эффективным на сто процентов.

Дмитрий записал его на середину января и, положив трубку, ещё какое-то время сидел, глядя на эту фразу в блокноте. «Всё в порядке» и «что-то мешает» уживались в ней так спокойно, словно никогда друг другу не противоречили.

В последний вечер года он сидел в своём тёплом, немного захламлённом кабинете с чашкой остывшего кофе в руке. Мотоцикл, укрытый брезентом, стоял во дворе и ждал весны. Катя обещала прийти встречать Новый год. Герань цвела вопреки декабрьской тьме за окном.

Дневник, 31 декабря

«Света совсем мало, а она всё равно цветёт». Это сказала Лена, и я хочу, чтобы эти слова стали последней строкой уходящего года, потому что лучшие про этот год не скажешь.

Итоги такие: три постоянных клиента и один записан на январь, куча долгов, мама, которая по-прежнему уверена, что я занимаюсь ерундой, мотоцикл в кредит и — не знаю, как ещё это назвать, — ощущение, что я на своём месте.

Перед тем как закрыть кабинет на праздники, я посидел в кресле, где обычно сидят клиенты. Хотел понять, каково это — смотреть на комнату с той стороны. Оттуда видно герань, кривую полку, которая прогнулась под Яломом, и пустое кресло напротив — моё. И я подумал: если через десять лет, через двадцать я буду сидеть в этом самом кресле (или в другом, получше, если дела пойдут в гору) и чувствовать то же, что чувствую сейчас, — что я живой, что я рядом с людьми, а не спрятан за терминами, — значит, я прожил эти годы не зря.

Виктор Аркадьевич говорит: не прячься за пониманием раньше времени. Я запомню это. Обещаю себе, что запомню навсегда.

С Новым годом, Дмитрий. Кажется, ты наконец нашёл, для чего живёшь.

Катя пришла в одиннадцатом часу, раскрасневшаяся от мороза, с пакетом мандаринов и бутылкой шампанского, которую, по её словам, всю дорогу грела за пазухой, чтобы та не

замёрзла. Она остановилась посреди кабинета, оглядела охристые стены, кривые полки, диван с продавленной серединой — и подошла к подоконнику.

— Это что, герань? В подвале? И цветёт?

— Цветёт, — сказал Дмитрий. — Соседка боялась, что засохнет. А она взяла и зацвела. Катя осторожно потрогала пальцем розовый цветок, проверяя, настоящий ли он.

— Упрямая, — сказала она с уважением. — Мне нравится.

Они встретили Новый год прямо там, на продавленном диване, под бой курантов из маленького радиоприёмника, который Анна Ильинична одолжила «на один вечер, под честное слово». Шампанское оказалось тёплым, мандарины — кислыми, а за окном под потолком мелькали ноги прохожих, спешивших к своим столам. Дмитрий потом много лет не мог вспомнить, о чём они говорили в ту ночь. Помнил только, что смеялись и что пахло мандаринами, кофе и, едва уловимо, яблоками.

Глава 2. Метод

2007–2008

Зима в тот год отступала неохотно, будто нарочно затягивая холод: снег сходил рывками, обнажая грязный асфальт, потом снова заметал его, потом снова сходил. Подвал на Чистых прудах в такие дни пропитывался сыростью, и Дмитрий наконец купил масляный обогреватель — тяжёлый, ребристый, похожий на гармонь, — который гудел в углу и пах горячей пылью. Клиенты садились к нему поближе, протягивали руки к рёбрам радиатора, и разговоры в кабине становились тише и доверительнее — так разговаривают путники, греющиеся у камина в лесном домике после долгого изнурительного похода.

Первая встреча с Игорем состоялась в один из последних январских вечеров — сухой, морозный, с колючим ветром, гнавшим позёмку по льду прудов.

Он вошёл ровно в назначенное время, минута в минуту, — высокий, подтянутый мужчина тридцати лет в идеально сидящем тёмном костюме, с короткой стрижкой и цепким, оценивающим взглядом человека, привыкшего мгновенно считывать людей и ситуации. Окинул взглядом охристые стены, кривые полки, герань под потолочным оконцем — и на лице его мелькнуло что-то вроде вежливого сомнения, которое он тут же убрал. Сел не в кресло, а на диван, но не откинулся на спинку, а сел на самый край, прямо, почти по-военному, сцепив пальцы в замок на коленях.

— У меня всё в порядке, — сказал он вместо приветствия, повторяя формулировку, с которой записывался по телефону. — Карьера растёт, зарплата хорошая, скоро повышение — руководитель отдела продаж в крупной фармкомпании. Но что-то мешает мне быть эффективным на все сто. Я как будто работаю на восемьдесят процентов, а нужно на сто.

— Расскажите, как выглядят на практике эти недостающие двадцать процентов, — попросил Дмитрий.

— Ну, например... — Игорь чуть нахмурился, подбирая слова с той тщательностью, с какой, вероятно, подбирал формулировки для презентаций. — Перед важной встречей у меня вдруг скачет пульс, потеют ладони. Ничего критичного, но выглядит это не очень уверенно. Или вечером, дома, когда вроде бы можно расслабиться, я продолжаю прокручивать рабочие сценарии. Это выматывает и снижает эффективность на следующий день.

— А что происходит, если вы позволяете себе вечером просто ничего не прокручивать?

Игорь посмотрел на него с искренним недоумением, будто вопрос был задан на незнакомом языке.

— Не знаю, — сказал он после паузы. — Я, кажется, никогда так не пробовал.

Дмитрий подождал. Обогреватель гудел в углу. За окном под потолком прошли чьи-то ноги в валенках.

— Игорь, а если представить, что вы работаете на восемьдесят процентов не из-за полочки, — сказал он наконец, — а потому что двадцать процентов вашей энергии уходит на что-то другое? Важное, просто невидимое для вас самого. Что бы это могло быть?

Игорь замер, и на одно короткое мгновение его цепкий взгляд стал неуверенным, как у человека, который на ровном месте вдруг не нашёл под ногой ступеньку. Сцепленные пальцы на секунду разошлись, словно руки приготовились что-то взять, — и тут же снова сомкнулись в замок.

— Не знаю, — повторил он тише. — Может быть, страх. Что, если я хоть немного сбавлю темп, всё развалится.

Дмитрий не стал развивать эту тему — рано, слишком рано для первой встречи. Он записал Игоря на следующий вторник и, когда за ним закрылась дверь, ещё сидел, глядя на про-

давленную середину дивана. Игорь так и не позволил себе в неё опуститься — просидел весь час на самом краю.

Вечером он достал из ящика стола новую тетрадь в клетку, купленную ещё на прошлой неделе, вывел на обложке «Рабочий журнал» и записал в неё первую страницу: про «восемьдесят процентов», про ладони на коленях, про страх, что всё развалится. Писал он быстро и с удовольствием, аккуратным, почти чертёжным почерком, совсем не похожим на тот, которым писал дневник.

Дневник, 2 февраля

Завёл вторую тетрадь, для работы. Теперь у меня их две: в журнал я записываю всё про метод — как формулировать вопросы, как держать паузу, что сработало и что нет, а дневник остаётся для меня самого. Очень удобно, если подумать: больше не нужно мешать одно с другим, и в дневнике не будет протоколов, а в журнале — моих переживаний.

Странно только, что журнал я пишу с таким удовольствием, а дневник второй вечер подряд открываю и не знаю, что в него написать.

Ладно. Надо больше спать.

Рабочий журнал он принёс на супервизию в середине февраля — с гордостью, как приносят первую контрольную, за которую уверен, что получишь пятёрку. Виктор Аркадьевич долго листал его в своём продавленном кресле, иногда задерживаясь на какой-нибудь странице, иногда возвращаясь назад, и Ира на пуфе у двери тоже вытягивала шею, пытаясь заглянуть. Потом он закрыл тетрадь, погладил ладонью обложку и вернул её Дмитрию.

— Хороший почерк, — сказал он. — Ровный.

— И всё? — улыбнулся Дмитрий.

— А чего ты ждал?

— Не знаю. Что вы скажете, нужное это дело или нет.

Виктор Аркадьевич покурил свою невидимую трубку, глядя куда-то поверх его головы, на книжный шкаф.

— Инструменты нужны, — сказал он наконец. — Вопрос только в том, для чего ты их собираешь. Чтобы лучше слышать человека — или чтобы реже пугаться того, что слышишь.

Дмитрий рассмеялся — легко, без напряжения. Вопрос показался ему почти риторическим. Конечно, чтобы лучше слышать. Разве могло быть иначе?

— Ну-ну, — сказал Виктор Аркадьевич и перешёл к следующему случаю.

Той весной у Дмитрия появилось ощущение, что жизнь наконец перестала его испытывать и начала просто идти — быстро, тепло и в нужную сторону. Клиентов стало девять. Лена приходила уже раз в две недели и однажды пришла в новом пальто, ярко-жёлтом, «чтобы меня точно заметили». А в конце марта Дмитрий перевёз свои немногочисленные вещи — два чемодана, коробку с книгами и мотоциклетный шлем — в Катину съёмную квартиру на Покровке, в двух кварталах от того самого дома, где они познакомились.

Квартира была маленькая, на последнем этаже, с косым потолком и огромным окном, в которое по утрам било солнце. Везде стояли холсты: у стен, за шкафом, под кроватью, на шкафу. Пахло скипидаром, кофе и красками. Кисти отмокали в банках из-под огурцов, на кухонном столе рядом с хлебницей лежала палитра, и однажды утром Дмитрий намазал на бутерброд вместо масла титановые белила — к счастью, вовремя заметил. Катя хохотала так, что уронила чашку.

Он сделал ей предложение там же, на кухне, без кольца и без подготовки, в один из апрельских вечеров, когда она стояла у плиты и помешивала что-то в кастрюле деревянной ложкой.

— Выходи за меня, — сказал он, сам удивившись, что сказал это вслух.

Катя обернулась и молча посмотрела на него, не выпуская ложку из рук.

— А кольцо?

— Кольца нет.

— Хорошо, — сказала она. — Значит, будет без кольца. Пробуй, тут соли хватает?

Свадьбу сыграли в конце апреля — скромную, почти без гостей. Были Серёга, который вызвался быть свидетелем и весь день ходил в пиджаке на два размера больше, взятом у отца, две Катины подруги-художницы с одинаковыми короткими стрижками, хозяин квартирника с гитарой и, вопреки всем ожиданиям, мать Дмитрия. Весь апрель она звонила и предупреждала, что «не одобряет такую спешку» — они были знакомы всего пять месяцев — и «вообще сомневается, готов ли Дима к такой ответственности при его нестабильном заработке». Но приехала.

Праздновали за городом, в деревянном доме Катиных друзей, на веранде, где сдвинули несколько столов и накрыли их разномастными скатертями. Вместо дорогих букетов стояли банки с ветками вербы и первыми жёлтыми одуванчиками, а над входом на веранду Катя сплела арку из ивовых прутьев и ленточек.

Утром, перед тем как ехать за город, она зашла в подвал на Чистых прудах — Дмитрий ждал её у машины — и вышла с двумя срезанными стеблями герани, завернутыми в мокрую салфетку.

— Ты что, у Анны Ильиничны отобрала? — удивился он.

— У тебя. С подоконника. На удачу, — сказала Катя и бережно положила свёрток на колени. — Не бойся, там ещё много осталось.

Розовые соцветия герани потом весь день торчали из ивовой арки, немного поникшие, но упрямые, и Дмитрий, стоя под этой аркой перед немногочисленными гостями, вдруг поймал себя на мысли, что ни о чём не думает. Не анализирует, не прогнозирует, не подбирает слов. Просто стоит и смотрит на Катю.

Клятвы они писали сами, отказавшись от банальных формулировок.

— Я обещаю, — сказал он, глядя в её смеющиеся, чуть заплаканные глаза, — каждый день стараться видеть в тебе не задачу, которую нужно решить, а человека, которого я люблю. Даже если моя профессия будет убеждать меня в обратном.

Гости засмеялись — фраза прозвучала как милая шутка про профессиональную деформацию, — и Серёга даже зааплодировал. Катя не засмеялась. Она взяла его лицо в ладони, испачканные чем-то зелёным — так и не отмыла краску, — и поцеловала.

Мать весь вечер держалась сдержанно, но не враждебно. Дмитрий видел, как она наблюдала за Катей, когда та, поймав брошенный кем-то букет одуванчиков, со смехом закружилась по веранде и утащила за собой в незапланированный танец всех гостей, включая хозяина квартирника вместе с гитарой. Что-то в лице матери в тот момент было похоже на неохотное, придирчивое, но всё же одобрение.

Когда празднование стихло и Дмитрий помогал ей надеть пальто перед отъездом, она сказала:

— Она хорошая. Не такая, как ты. Ты слишком много думаешь. А она, видно, просто живёт. Может, тебе это и нужно.

Это было настолько неожиданно, настолько не похоже на неё, что Дмитрий на мгновение растерялся.

— Спасибо, мам.

— Только не превращай её в очередного пациента, — добавила мать уже строже, снова становясь собой, и застегнула последнюю пуговицу. — Ты же вечно всех анализируешь. Она этого не заслуживает.

Она села в такси, и машина уехала по тёмной просёлочной дороге, а Дмитрий ещё стоял у калитки, чувствуя, как обида от этих слов борется в нём с чем-то другим, чему он не мог подобрать названия.

Дневник, 28 апреля

Женился! До сих пор не верю, что это слово теперь про меня. Весь день я ни разу не подумал ни о работе, ни о методе, ни о том, правильно ли я себя веду, — просто стоял под аркой и смотрел на Катю, и это было, наверное, самое простое и самое счастливое, что со мной случилось.

Мама на прощание сказала, чтобы я не превращал Катю в пациентку, потому что я вечно всех анализирую. Меня это задело, и задело сильнее, чем мне хотелось бы. Разве я так себя веду дома? Мне кажется, что дома я совсем другой человек, чем в кабинете. Хотя откуда маме знать, какой я в кабинете.

Нет. Сегодня об этом думать не буду. Сегодня — просто счастье.

Через несколько дней после свадьбы Дмитрий заметил на подоконнике Катиной кухни стакан с водой, в котором стояли те самые два стебля герани из арки — уже без цветов, с поникшими листьями.

— Зачем ты их хранишь? Они же завяли, — сказал он.

— Не завяли, а отдыхают, — ответила Катя, не отрываясь от холста. — Подожди, они корни пустят.

Он пожал плечами и забыл. А через три недели у стеблей появились тонкие белые корешки, и Катя посадила их в глиняный горшок, который сама расписала синими завитками, и поставила горшок на подоконник рядом со своими кистями.

Лето пролетело незаметно, в работе и в долгих вечерах на крыше Катиного дома, куда они вылезали через чердачное окно с пледом и бутылкой вина.

В начале сентября Катя встретила его у дверей квартиры — в краске по локоть, с кистью в одной руке и какой-то белой пластмасской в другой — не то ручкой, не то градусником.

— Смотри, — сказала она и протянула ему пластмасску. Голос у неё сорвался на смех. — Две. Две полоски, Дима.

Он стоял в дверях, в куртке, с сумкой через плечо, и не мог вымолвить ни слова. Потом опустил сумку прямо на пол, обнял её вместе с кистью и краской, и они долго стояли так в маленькой прихожей, пока Катя не сказала, что у него теперь вся куртка синяя.

Дневник, 4 сентября

Катя беременна. Я пишу это и не понимаю, что чувствую: кажется, всё сразу. Радость такую, что хочется бежать по улице и кричать, и страх такой, что ночью не спал до четырёх. Я столько лет учился понимать, что происходит с людьми, — а теперь не понимаю, что происходит со мной.

Может, так и надо. Может, это как раз тот случай, когда понимать не нужно.

Буду отцом. Господи. Буду отцом.

Осень прошла в стремительном, насыщенном ритме растущей практики. К Дмитрию потянулись новые клиенты — уже не только по сарафанному радио, но и через сайт, который он наконец сделал с помощью Катиного знакомого программиста, работавшего за скромный гонорар и обещание бесплатных консультаций. А в октябре вышла его первая небольшая публикация — статья о панических атаках в популярном женском журнале. Редактор оказалась знакомой знакомой одной из клиенток, и статья, написанная за три бессонных вечера, заняла целый разворот, с фотографией, на которой Дмитрий выглядел гораздо серьёзнее, чем был на самом деле.

Мать позвонила в день выхода номера. Сказала, что купила два экземпляра — один себе, другой соседке, — спросила, как Катя себя чувствует и не тошнит ли её по утрам. Про то, что это не работа для мужчины, она в тот раз не сказала ни слова.

Игорь приходил регулярно, раз в неделю, и постепенно, слой за слоем, начинал приоткрывать то, что скрывалось под его деловой бронёй. Однажды в ноябре, рассказывая о каком-то совещании, он вдруг замолчал на полуслове и некоторое время смотрел на обогреватель, словно что-то в его гудении ему мешало.

— Знаете, что говорил мой отец, когда я плакал? — сказал он наконец совершенно другим, тихим голосом. — «Слёзы — для девочек. Ты кто, девочка?» Мне было шесть. Он был военный, полковник. А потом, в двенадцать, меня побили на тренировке по боксу, и тренер при всех сказал: «Слабак». И я тогда пообещал себе, что больше никогда... — Он осёкся. — Я никому этого не рассказывал. Даже жене. Бывшей.

Дмитрий молчал, давая этим словам повисеть в тёплом воздухе подвала.

— Что вы чувствуете сейчас, когда это рассказали? — спросил он наконец.

Игорь посмотрел на свои ладони, уже лежавшие на коленях, а не сцепленные в замок.

— Странно, — сказал он. — Как будто что-то снял. Пиджак, например. А под ним рубашка мокрая.

Вечером Дмитрий исписал в рабочем журнале четыре страницы. Писал он долго, с наслаждением, подчёркивая ключевые фразы, рисуя стрелки от детства к нынешним «восемидесяти процентам», и, закончив, перечитал написанное с тем особым удовольствием, которое бывает, когда сложная задача вдруг складывается в стройную схему. Перед сном он поймал себя на том, что улыбается в темноте, но не мог бы сказать наверняка, чему больше — тому, что Игорь наконец заговорил, или тому, как красиво это легло на бумагу.

Виктор Аркадьевич пропустил супервизию в середине февраля — впервые за три года, без предупреждения, без звонка, что было совершенно на него не похоже. Старик отличался почти маниакальной пунктуальностью и считал опоздание «формой неуважения к чужому времени, которое ничем не лучше неуважения к чужой боли». Дмитрий прождал под дверью его арбатской квартиры полчаса, звоня в дверь, потом на мобильный, потом снова в дверь, пока соседка с нижнего этажа не выглянула на лестницу и не сказала, что «Виктора Аркадьевича третьего дня увезли на скорой».

В больнице, куда он в итоге дозвонился, — обычной городской, без особых удобств — подтвердили: инсульт, состояние стабильное, но тяжёлое, посещения ограничены.

Дмитрий приехал на следующий день, сжимая в руках пакет с апельсинами — совершенно неуместный жест, который он тем не менее не мог не сделать, — и нашёл своего наставника в палате на четверых, за застиранной ширмой, куда почти не проникал дневной свет.

Виктор Аркадьевич выглядел меньше, чем помнился. Не только физически, хотя и физически тоже: будто болезнь одним махом вынула из него ту спокойную, почти монументальную устойчивость, которая всегда казалась Дмитрию его главной чертой. Левая сторона лица чуть опустилась, речь давалась с трудом, слова выходили медленнее и не всегда чётко. Но взгляд остался прежним — цепким, внимательным, видящим насквозь.

— Ты, как всегда... с апельсинами, — с трудом, но узнаваемо пошутил он, скосив глаза на пакет. — Будто я цингой болею... а не головой.

Дмитрий рассмеялся — слишком громко для больничной палаты, нервно — и сел на неудобный пластиковый стул у кровати.

— Как вы себя чувствуете?

— Как человек, который всю жизнь учил других... не прятаться за словами. А теперь сам их еле выговаривает, — сказал старик, и в голосе его, несмотря на затруднённую речь, прозвучала горькая самоирония. — Тело иногда шутит грубее, чем любой клиент.

Они проговорили около часа, насколько позволяли его состояние и строгие взгляды медсестры, заглядывавшей в палату. Виктор Аркадьевич говорил медленно, экономя силы, но каждое слово было выверено так же точно, как на супервизиях.

— Дима, — сказал он, когда разговор коснулся группы, оставшейся без него. — Мне придётся уйти... Не сейчас, но насовсем. Из практики, из супервизий. Тело больше не позволяет. И я хочу, чтобы ты кое-что запомнил, пока я ещё могу это внятно сказать.

Дмитрий подался вперёд.

— Ты хороший терапевт. Один из лучших, кого я видел за много лет. Но у тебя есть особенность, которая может стать либо твоим даром, либо твоим падением. Всё зависит от того, что ты с ней сделаешь.

— Какая особенность?

— Ты слишком быстро учишься понимать. Быстрее... чем большинство людей учатся чувствовать. И придёт день — не завтра, не через год, но придёт, — когда понимать станет для тебя легче и безопаснее, чем чувствовать. В этот день... вспомни наш разговор. Понимание без чувства — это дезертирство, переодетое в мудрость. Не дезертируй, Дима. Даже когда это будет казаться самым разумным решением на свете.

К горлу подступил ком — от жалости к этому маленькому, вдруг постаревшему человеку и от чего-то ещё, смутного, чему Дмитрий не хотел давать имени.

— Я не дезертирую, — сказал он.

Виктор Аркадьевич посмотрел на него, улыбнулся одной, здоровой половиной лица и спорить не стал.

Дневник, 20 февраля

Виктор Аркадьевич в больнице, инсульт. Человек, который всегда казался мне скалой, теперь с трудом выговаривает слова, и я до сих пор не могу в это поверить.

Его слова я запомнил дословно. Главное — не дезертируй. Я пообещал ему, что не дезертирую.

Записываю это обещание сюда, в дневник, со всей серьёзностью — чтобы потом, через годы, можно было открыть эту страницу и проверить, сдержал ли я его.

Хотя, если честно, я пока не очень понимаю, о чём он меня предупреждал. Мне двадцать семь, у меня растущая практика, любимая жена, и скоро родится ребёнок. Где здесь место для дезертирства?

Виктор Аркадьевич вернулся домой через два месяца, с трудом передвигаясь и так и не вернув прежней речи, и группа, которую он вёл почти пятнадцать лет, распалась. Ира ушла к одному супервизору, двое серьёзных ребят из института — к другому. Дмитрий тоже попробовал походить к двум новым наставникам, но после второй встречи с каждым понял, что ищет не супервизора, а Виктора Аркадьевича, и перестал искать. В конце концов, решил он, у него есть рабочий журнал, есть опыт, есть голова на плечах. Справится сам.

Справляться пришлось раньше, чем он ожидал.

Артём пришёл на очередную сессию в конце марта — двадцать четыре года, тяжёлая депрессия после разрыва многолетних отношений, вторые полгода терапии. Пришёл с тем видом обманчивого спокойствия, который Дмитрий потом ещё много лет узнавал издалека: слишком ровный голос, слишком аккуратно причёсанные волосы, слишком чистая, будто специально к этому дню выглаженная рубашка.

— Знаете, — сказал он, устроившись на диване с той же неестественной прямоотой, — я, кажется, наконец понял, что мне делать со всем этим.

— Расскажите, — попросил Дмитрий, и где-то под рёбрами у него тихо включилась тревога — раньше, чем разум успел понять, что именно его насторожило.

— Я понял, что больше не хочу бороться, — сказал Артём всё с той же безмятежной интонацией. — Не в смысле сдаться депрессии. А в смысле, что нашёл выход. Настоящий. Окончательный.

Следующие сорок минут стали самыми напряжёнными в практике Дмитрия на тот момент. Он методично, шаг за шагом, следуя протоколу оценки суицидального риска, который знал наизусть, выяснял детали — есть ли план, есть ли средства, есть ли дата. Ответы Артёма подтверждали худшие опасения: план был, средства были продуманы, дата назначена на послезавтра.

Дмитрий убедил Артёма остаться в кабинете дольше положенного времени, связался с психиатрической службой, договорился о срочной госпитализации, дождался бригады и сам проводил его до машины скорой помощи. Анна Ильинична стояла у своего окна на первом этаже, прижав ладонь к стеклу, и смотрела, как машина выезжает со двора. Дмитрий стоял посреди двора под тополем, пока скорая не скрылась за поворотом, и только тогда заметил, что вышел без куртки, а на улице март.

Домой он вернулся за полночь. Катя не спала — сидела на кухне с чаем, на восьмом месяце, укутанная в его старый растянутый свитер, и по его лицу сразу поняла, что спрашивать ничего не нужно. Она просто взяла его за руку и отвела в комнату.

Они лежали в темноте, и Дмитрий смотрел в косой потолок, по которому скользили отсветы фар с улицы.

— Я мог его потерять, — сказал он наконец. — Если бы не спросил прямо. Если бы поверил его спокойствию.

— Но ты спросил, — тихо сказала Катя. — Он жив.

— Пока жив. Госпитализация — это не решение. Это отсрочка. Настоящая работа только начинается.

Катя ничего не ответила. Она взяла его ладонь и положила себе на живот, и некоторое время ничего не происходило. А потом под его ладонью что-то толкнулось — сильно, упрямо, как будто изнутри кто-то стучал в дверь, требуя, чтобы его впустили.

Дмитрий заплакал. Тихо, почти беззвучно, в темноте, — и Катя не стала спрашивать почему.

Дневник, 29 марта

Три часа ночи. Катя уснула, а я сижу на кухне и пишу, потому что руки до сих пор дрожат и заснуть не получится.

Я не буду записывать, что было сегодня в кабинете. Всё, что нужно, я уже записал в журнал — по пунктам, по протоколу, как положено. А сюда хочу записать другое: когда я положил руку Кате на живот, ребёнок толкнулся. Прямо в ладонь. Как будто сказал: я здесь, я живой.

Сегодня один человек хотел уйти, а другой — постучался, чтобы войти. И всё это в один день.

Не знаю, что ещё написать. Просто — спасибо. Не знаю кому. Всем.

Артём провёл в стационаре три недели, а после выписки продолжил работу с Дмитрием — уже вместе с психиатром, к которому Дмитрий направил его параллельно с терапией. Кризис не повторился.

А Дмитрий в те же недели купил себе новый толстый блокнот и начал составлять собственный чек-лист оценки суицидального риска: двенадцать пунктов, потом двадцать, потом тридцать два, с подпунктами и пометками на полях. Он изучал самые современные протоколы кризисного вмешательства, сравнивал шкалы, выписывал формулировки вопросов, которые помогали бы в критический момент действовать без промедления и без ошибки. Работа

эта успокаивала его лучше любого мотоцикла. Каждый новый пункт был ещё одной доской в стене, которую он выстраивал между собой и тем мартовским вечером, когда стоял без куртки посреди двора и смотрел вслед скорой.

Чек-лист он держал в верхнем ящике стола, под рабочим журналом. Дневник лежал в нижнем.

Глава 3. Признание

2008–2011

Соня родилась четырнадцатого мая, в дождливый весенний день, после долгих, изматывающих родов. Дмитрий провёл их рядом с Катей, держа её за руку и оказавшись по другую сторону: не специалистом, который знает, что делать, а беспомощным, перепуганным мужем, который не знает ничего. Он, умевший часами сидеть рядом с чужим страхом и не отводить глаз, здесь не мог найти себе места, то и дело вскакивал, подавал воду, которую Катя не просила, и один раз спросил акушерку, всё ли идёт нормально, таким голосом, что та посмотрела на него с жалостью и отправила в коридор подышать.

Когда медсестра наконец вынесла ему маленький свёрток и он впервые увидел крошечное, сморщенное, совершенно незащитное лицо дочери, всё, что он знал о человеческих чувствах, вдруг стало неважным. Он ничего не понимал и ничего не хотел понимать. Просто стоял посреди больничного коридора и держал её.

— Здравствуй, — прошептал он, глядя в закрытые глаза новорождённой. — Я твой папа. И я обещаю, что буду просто рядом. Не только понимать тебя, а просто быть рядом.

Соня сморщила нос, будто примеривалась, стоит ли ему верить, и чихнула.

Вечером в роддом приехала мама. Дмитрий никогда раньше не видел, как она плачет, — не сдержанно, не украдкой, а настоящими, некрасивыми слезами, которые она даже не пыталась вытирать. Она взяла Соню на руки, долго смотрела на неё, потом подняла глаза на сына.

— Хоть в чём-то ты меня не разочаровал, Дима, — сказала она.

Он рассмеялся — так это было на неё похоже. Похвала с шипом внутри, как роза из магазина, у которой забыли срезать колючки. Но всё равно похвала.

Дневник, 15 мая

Родилась Соня. Я пытаюсь подобрать слова и понимаю, что они не нужны. Не нужно анализировать, не нужно формулировать, не нужно искать точное определение тому, что я чувствую. Я просто держал её на руках, и внутри у меня что-то перевернулось насовсем.

Сказал ей в первую минуту жизни, что буду просто рядом, а не только понимать. Смешно, наверное, говорить такое новорождённой, которая ничего не слышит, кроме шума. Но, может быть, я сказал это не ей, а себе — чтобы было кому потом напомнить.

Катя невероятная. Устала до предела, но светится так, будто в палате включили ещё одну лампу. Мама плакала. Сказала, что хоть в чём-то я её не разочаровал. Это, наверное, лучшее, что она говорила мне за последние десять лет.

Первые месяцы с Соней прошли в том особом полусне, который знаком всем молодым родителям. Ночи распадались на куски по полтора-два часа, дни сливались в один бесконечный день, кухня на Покровке пахла теперь не только скипидаром и красками, но и детской смесью, а холсты, расставленные прежде по всей квартире, аккуратно переехали на шкаф и в один угол, чтобы освободить место для кроватки и нового человечка. Катя рисовала урывками, когда Соня засыпала, иногда прямо с ней на руках, и однажды Дмитрий застал её у мольберта с дочерью в слинге и кистью в зубах.

На подоконнике Катиной кухни, между банками с кистями и бутылочками, стоял тот самый расписанный синими завитками горшок с геранью из свадебной арки. Герань разрослась, выпустила новые побеги и цвела всё лето — крупными, ярко-розовыми шапками, не обращая никакого внимания на детский плач, бессонные ночи и запах скипидара.

А в подвале на Чистых прудах тем летом всё стало немного иначе.

Он купил новый письменный стол — тёмного дерева, солидный, с двумя тумбами, — вместо старой расшатанной конторки, на которой когда-то подписывал первые договоры с клиентами. Разложил документы по отдельным аккуратным папкам вместо прежней стопки бумаг на краю стола. Завёл строгий график приёма вместо гибкой, почти дружеской договорённости о времени встреч, когда Лена могла позвонить в среду и перенести четверг на пятницу, потому что в четверг экзамен. Решения эти казались ему очевидными и правильными: дома теперь был младенец, а значит, и хаос, неизбежный просто в силу обстоятельств, — и хотя бы на работе всё должно было лежать на своих местах.

В августе Катя зашла в кабинет занести зонт, который он забыл дома, — с Соней в слинге, загорелая, в сарафане, испачканном краской на подоле. Она остановилась посреди комнаты, оглядела новый стол, ровную стопку папок, расписание, приколотое кнопкой к стене над телефоном.

— Здесь стало гораздо солиднее, — сказала она с лёгкой, необидной улыбкой. — Немного меньше похоже на наш дом. Немного больше — на поликлинику.

— Это профессионально, — ответил Дмитрий, не уловив в её голосе ничего, кроме дружеского подтрунивания. — Клиентам важно видеть структуру, порядок.

— Наверное, ты прав, — согласилась Катя.

Уходя, она задержалась у подоконника, где стояла герань Анны Ильиничны, и тронула пальцем поникший, наполовину засохший цветок. Герань в подвале в то лето цвела заметно скуднее, чем раньше, хотя горшки так и стояли на прежнем месте.

Лена закончила терапию в октябре, через два года после того, как вошла в подвал боком, не отпуская ремешок сумки. Последнюю сессию она назначила сама, без его подсказки, и пришла в том самом жёлтом пальто.

— Я сегодня ехала через «Лубянку», — сказала она с порога. — И знаете что? Я забыла, что раньше её боялась. Просто вспомнила уже наверху, на улице.

Они проговорили весь час — не о панике, а о её новой работе. Лена устроилась администратором в «Аптекарский огород», старый ботанический сад на проспекте Мира, и теперь каждое утро проходила к своему столу через оранжерею, где под стеклянным куполом цвели орхидеи, пахло мокрой землёй и по дорожкам бродили школьные экскурсии. «Представляете, я там впервые в жизни не хочу уходить домой, — сказала она. — Меня даже метро теперь не пугает: я в нём думаю, какие цветы сегодня распустились». Уходя, она обернулась в дверях, как обернулась тогда, после шестой сессии, и посмотрела на подоконник.

— Можно я возьму отросток? — спросила она. — Той герани. На память.

Дмитрий отломил ей веточку, завернул в мокрую салфетку, как когда-то Катя перед свадьбой, и Лена ушла, бережно неся её перед собой обеими руками, будто свечку.

Вечером он сел записать завершение случая в рабочий журнал, но поймал себя на том, что не знает, что туда написать. Цели терапии достигнуты, симптоматика купирована, рекомендован контрольный визит через полгода. Всё это было правдой, и всё это ничего не говорило о жёлтом пальто и веточке герани в мокрой салфетке. Он закрыл журнал, открыл дневник и долго сидел над ним, но и туда так ничего и не записал.

Игорь тоже закончил терапию в ту осень — в конце 2008-го, когда, по общему ощущению, они добились значимого прогресса. Игорь научился хотя бы иногда позволять себе вечером ничего не прокручивать, начал встречаться с женщиной, отношения с которой, по его собственным словам, «строились иначе, чем раньше — без постоянного контроля», и на последней сессии сел не на край дивана, а откинулся на спинку.

— Если что, я знаю, где вас найти, — сказал он на прощание, крепко пожимая руку.

Виктора Аркадьевича Дмитрий навещал в те годы раз в месяц, по субботам. Привозил хороший чай, который старик любил, и свежие журналы, и они сидели в арбатской квартире, где книги по-прежнему стояли в два ряда, а на крышке пианино теперь лежали упаковки с

лекарствами. Говорил в основном Дмитрий — про практику, про Соню, про Катины картины, — а Виктор Аркадьевич слушал, медленно кивал и иногда вставлял короткое слово или два. Речь так к нему полностью и не вернулась. Однажды он задремал посреди рассказа Дмитрия о каком-то сложном случае, прямо в кресле, с невидимой трубкой в пальцах, и Дмитрий укрыв его пледом, тихо прибрал на кухне чашки и ушёл, не разбудив.

В следующий раз он приехал не через месяц, а через полтора. Потом через два. Практика росла, Соня росла, и субботы как-то сами собой заполнялись.

Приглашение вести колонку в популярном интернет-издании о психологии пришло в начале 2010 года. Редактор, вышедшая на Дмитрия через ту самую первую статью в женском журнале, написала короткое деловое письмо: раз в две недели колонка, тема на его усмотрение, гонорар скромный, зато аудитория — десятки тысяч читателей.

Дмитрий согласился в тот же вечер.

Первая колонка называлась «Почему мы боимся тишины» — про то, как современный человек заполняет любую паузу шумом, лишь бы не остаться наедине с собственными мыслями, и про то, как в терапии именно тишина часто становится пространством, где происходит самое важное. Он писал её три вечера подряд, переписывая и оттачивая каждую фразу с той же тщательностью, с какой готовился к сложным сессиям.

Реакция превзошла ожидания. Статью пересылали друг другу, комментировали, присылали благодарности в личные сообщения на странице в социальной сети, которую он завёл специально для колонки. Через месяц у него было несколько сотен подписчиков, через три — несколько тысяч. Колонка выходила стабильно, тема за темой: синдром самозванца, токсичные отношения — тогда это слово только входило в обиход, — детские травмы взрослых людей, экзистенциальная тревога, которую он умел объяснять простым языком, не теряя глубины.

Черновики он по привычке распечатывал и оставлял на кухонном столе, и Катя читала их по утрам за кофе, пока Соня размазывала по тарелке кашу. Читала она всегда с карандашом в руке. Она ничего не исправляла и не вычёркивала, только иногда ставила на полях маленькие аккуратные вопросительные знаки — напротив тех фраз, где Дмитрий писал «всегда», «никогда», «на самом деле», «каждый из нас».

Он видел эти вопросительные знаки, когда забирал черновики. Перед тем как отправить текст редактору, он открывал файл, перечитывал отмеченные места и почти всегда оставлял их как есть. Люди хотели ясности. Никто не будет читать колонку, полную «может быть» и «возможно».

Дневник, 3 марта

Колонка растёт быстрее, чем я мог представить: больше двух тысяч подписчиков, комментариев, письма. Приятно понимать, что твои мысли помогают людям, которых ты никогда не увидишь, — это совсем другой масштаб, чем один человек в кабинете.

Наблюдение: в кабинете я могу сказать клиенту «не знаю» или «давайте разбираться вместе». В тексте так нельзя — читателю нужна опора, ясность, формула, за которую можно ухватиться. И я, кажется, довольно быстро научился давать её.

Катя опять наставила вопросительных знаков на полях. Надо будет как-нибудь спросить её, что она имеет в виду. Хотя, по-моему, и так понятно.

Игорь вернулся в мае, спустя почти полтора года перерыва. Позвонил, как и в первый раз, коротко и по-деловому, и попросил «ближайшее свободное окно».

Он вошёл в кабинет с той же безупречной выправкой, но что-то в его лице выдавало усталость, которую не могли скрыть ни дорогой костюм, ни свежая стрижка. Сел на диван — сразу, по-хозяйски, откинувшись на спинку, будто и не было полутора лет перерыва.

— Получил повышение, — сказал он вместо приветствия. — Директор департамента. О таком мечтал с самого начала карьеры.

— Поздравляю, — искренне сказал Дмитрий. — Что привело вас обратно?

Игорь помолчал, разглядывая свои руки. Пальцы были не сцеплены в замок — просто лежали на коленях, но лежали так неподвижно и ровно, что это было почти то же самое.

— Мне кажется, я снова там же, где был тогда, — сказал он наконец. — Только теперь у меня больше денег, больше статуса, и я не понимаю, почему пустота ощущается точно так же. Если не хуже.

— Расскажите про отношения, — попросил Дмитрий. — В прошлый раз вы говорили, что они строятся иначе.

— Строились, — поправил Игорь с горькой улыбкой. — Мы расстались полгода назад. Она сказала, что я снова «исчез внутри своей эффективности». Её слова.

Сессия продлилась дольше обычного. Дмитрий, за эти полтора года накопивший сотни часов практики и десятки прочитанных исследований, методично распутывал новый клубок, который Игорь сплёл взамен старого. Теперь контроль прятался не за трудоголизмом, а за «работой над собой»: Игорь читал книги по саморазвитию, ходил на тренинги по эмоциональному интеллекту, вёл дневник благодарности и раз в неделю — дневник эмоций, с таблицей и шкалой от одного до десяти. И всё это делал с той же механической точностью, с какой раньше строил карьеру.

— Знаете, что я сейчас думаю? — сказал Дмитрий ближе к концу сессии, чувствуя, как фраза складывается у него в голове целиком, точная и законченная, как ключ, выточенный под замок. — Мне кажется, вы взяли те же инструменты контроля, которые применяли к карьере, и перенесли их на собственные чувства. Вы не научились чувствовать. Вы научились эффективно управлять чувствами. Это разные вещи.

Игорь замер. На лице его проступило выражение, которое Дмитрий за эти годы научился узнавать безошибочно, — узнавание, шок и облегчение одновременно.

— Господи, — сказал он. — Вы правы. Я даже плачу эффективно. У меня для этого есть дыхательная техника.

Дмитрий рассмеялся, и Игорь, спустя секунду, тоже — по-настоящему, откинув голову назад.

Домой Дмитрий возвращался пешком, через бульвары, и всю дорогу прокручивал в голове ту фразу — «вы научились эффективно управлять чувствами», — проверяя её на прочность, как проверяют качество хорошо сделанной вещи, и с удовольствием убеждаясь, что она безупречна.

Дома его ждал разговор о садике. Катя с утра просила забрать Соню в пять, у неё была встреча с галеристом, но у Дмитрия до семи стояли клиенты, и это была уже третья такая накладка за месяц. Катя стояла посреди кухни в пальто, с ключами в руке, а он, ещё не сняв ботинки, начал объяснять — спокойно, по пунктам, — почему у них снова путаница с расписанием, откуда она берётся и как её можно устранить раз и навсегда, если договориться о простом правиле. Он говорил и чувствовал, что говорит хорошо, ясно, по делу, и что правило действительно разумное.

Катя дослушала до конца. Потом молча положила ключи от машины обратно на полку, сняла пальто, повесила его на крючок и ушла в комнату, где Соня строила из кубиков башню. Встречу с галеристом она в тот вечер отменила. Дмитрий узнал об этом только через неделю, совершенно случайно, из её телефонного разговора с подружкой.

Дневник, 18 мая

Вернулся И. Фраза сработала. Это, пожалуй, лучшая интервенция за весь год. Когда я только начинал, я бы так не смог.

Наблюдение: клиенты с высоким уровнем контроля часто используют саморазвитие как ещё одну форму контроля. Записать в журнал подробнее.

Дома опять неразбериха с садиком. Предложил Кате простое правило на будущее, чтобы не путаться. Кажется, она не до конца его приняла — ничего не ответила. Надо будет вернуться к этому, когда она будет в настроении.

Лев родился в сентябре. Назвали его в честь Катиного деда, художника-оформителя, который всю жизнь рисовал афиши для провинциального кинотеатра и от которого, по семейной легенде, Катя унаследовала руки. Роды прошли легче и быстрее, чем с Соней, — Дмитрий даже не успел испугаться, — и в первые месяцы дома было светлее и спокойнее: без того первобытного ужаса неопытности, который сопровождал появление Сони, и с той уверенностью, которая бывает у людей, уже однажды выживших в подобном.

К тому времени практика приносила стабильный, солидный доход. Колонка добавляла не столько денег, сколько имени, а имя само собой превращалось в новых, более платёжеспособных клиентов. Квартира на Покровке, где и раньше было не развернуться между холстами, с двумя детьми стала тесной окончательно, и той же осенью они купили новую — просторную, светлую, в тихом районе на юго-западе, рядом с хорошей школой, куда со временем предстояло пойти Соне.

Обставлял её Дмитрий сам, воодушевлённый растущим достатком, с основательностью, которой раньше за собой не замечал. Качественная мебель, продуманный свет, встроенные шкафы, светлые стены без единого гвоздя, минимум лишних вещей. Он неделями выбирал диван в гостиную, сравнивал образцы обивки, читал отзывы, и когда диван наконец привезли, стоял перед ним с тем же чувством, с каким когда-то стоял перед готовой интервенцией: всё сошлось.

Катя переезжала труднее. Коробки с красками, кистями, холстами и подрамниками неделями стояли в коридоре, потому что ни в гостиную, ни в спальню они никак не вписывались. В конце концов под её студию отвели маленькую комнату в конце коридора, бывшую гардеробную, без окна, но с хорошей лампой.

— Мне здесь как будто не хватает воздуха, — призналась она однажды вечером, сидя на полу среди нераспакованных коробок. — Всё такое... правильное. Так продумано. Мне всё время кажется, что я порчу картину, если оставлю кисть не на своём месте.

— Ты преувеличиваешь, — сказал Дмитрий, помогая ей расставить холсты вдоль стены. — Нужно время, чтобы привыкнуть. Новое пространство всегда сначала кажется чужим.

Катя кивнула и ничего не ответила. Горшок с геранью, расписанный синими завитками, она перенесла на подоконник на кухне — единственное окно в квартире, на котором уже что-то стояло: сухоцветы в стеклянной вазе, выбранные дизайнером мебельного салона. Сухоцветы она осторожно отодвинула в сторону. Через месяц они перекочевали в шкаф, а герань осталась.

Дневник, 25 октября

Лёве месяц. Второй раз в жизни держу на руках новорождённого ребёнка, и это ни на что не похоже. С Соней было больше страха, потому что всё было впервые. Со Львом — больше спокойной, глубокой радости.

Переехали. Квартира получилась именно такой, какой я её задумывал: светлая, просторная, без хаоса. Катя говорит, что ей не хватает воздуха. Я объяснил, что это обычная адаптация к новому месту, и это действительно так, — у меня есть клиентка, которая два года привыкала к новой квартире после развода.

Хотя иногда, глядя на её коробки в коридоре, я чувствую что-то странное. Будто вместе с переездом мы что-то не только приобрели, но и потеряли. Не знаю что. Наверное, просто устал от суеты.

К концу 2011 года у Дмитрия было около двадцати постоянных клиентов. Колонка выходила уже еженедельно, у страницы было пятнадцать тысяч подписчиков, а в середине декабря пришло письмо из издательства — осторожное, не обязывающее, скорее пробное: не хотел бы он подумать о книге? На основе лучших колонок, дополненных более глубоким, систематическим изложением его подхода к работе с тревогой.

Он прочитал письмо поздним вечером в кабинете на Чистых прудах — теперь уже безупречно организованном: стол чист, папки выстроены по алфавиту, ежедневник расписан на месяц вперёд — и почувствовал то особое, пьянящее волнение, которое приходит к человеку на пороге признания, к которому он шёл, даже не всегда признаваясь себе в этом.

Он встал из-за стола, прошёлся по кабинету, остановился у подоконника. Герань Анны Ильиничны, которую он исправно поливал по понедельникам, цвела теперь совсем скудно: один-два мелких бледных цветка вместо прежней пышной розовой шапки, нижние листья пожелтели и скрутились. Он подумал, что надо бы её пересадить, купить удобрение, почитать, в чём может быть дело. Подумал — и вернулся к столу, к письму, к первым, уже складывающимся в голове главам будущей книги.

Анну Ильиничну он в тот год почти не видел. Она по-прежнему жила на первом этаже, но с чаем больше не заходила: может быть, стеснялась нового стола и папок, а может быть, просто постарела. Однажды осенью он столкнулся с ней у подъезда, и она спросила, жива ли её герань.

— Жива, — сказал он. — Цветёт.

Она посмотрела на него внимательно, глазами бывшей учительницы, которая умеет отличить выученный урок от невыученного, и ничего не сказала.

Дневник, 30 декабря

Издательство предложило подумать о книге! Пять лет назад я снимал сырой подвал и боялся, что ко мне вообще никто не придёт, а теперь мне предлагают написать книгу на основе моей практики.

Мама, узнав об этом, впервые в жизни сказала, что гордится мной. Без оговорок, без ишипа. Просто: «Я горжусь тобой, сынок». Не думал, что доживу до этих слов.

Итоги года: — двадцать постоянных клиентов; — пятнадцать тысяч подписчиков; — предложение от издательства; — двое детей, любимая жена, новая квартира.

По всем параметрам это лучший год моей жизни. Не понимаю только, почему, перечитывая этот список, я не чувствую того, что должен чувствовать.

Ладно. Не буду заикливаться на мелочах в такой хороший год.

ЧАСТЬ II. РЕНТГЕН

2012–2020

Глава 4. Минимализм

2012–2014

Ремонт кабинета начался сразу после новогодних праздников, и на этот раз не косметический, а настоящий, с перепланировкой. Соседнее помещение в том же подвале, где много лет хранили какой-то бухгалтерский архив, наконец освободилось, и Дмитрий выкупил его, объединив два подвала в одно просторное пространство. Дизайнера ему порекомендовал один из клиентов. Это оказалась молодая женщина в чёрном, с гладко зачёсанными волосами и манерой говорить короткими, отточенными фразами, как будто каждое лишнее слово стоило денег.

Она обошла подвал за пять минут, не снимая пальто, сфотографировала стены на телефон и через неделю прислала концепцию, которую назвала «терапевтическим минимализмом». Стекло, светлое дерево, скандинавская сдержанность вместо прежней домашней разнообразности.

— Клиенту должно быть спокойно смотреть по сторонам, а не разглядывать ваши личные вещи, — объяснила она, показывая эскизы на ноутбуке. — Минимум отвлекающих деталей. Максимум пространства для мысли.

На эскизах не было ни продавленного кожаного дивана, ни кривых полок, прогнувшихся под тяжестью книг, ни охристых стен цвета «Тепло дома». Были светлые, почти белые стены, длинный стеклянный стол, два одинаковых серых кресла и низкий диван, на который хотелось не садиться, а смотреть. Дмитрий кивал, соглашаясь с каждым пунктом. Всё было логично, всё было обосновано, и он не нашёл ни одного возражения, которое можно было бы сформулировать на её языке.

Старый диван выносили в середине января. Двое грузчиков, матерясь сквозь зубы, протаскивали его боком через узкий коридор, и Дмитрий, стоя у двери, вдруг поймал себя на мимолётном сожалении — таком остром и неуместном, что он тут же заглушил его разумным доводом: новая мебель практичнее, современнее, солиднее. Диван вынесли во двор и поставили под тополем в ожидании машины, которая должна была отвезти его на свалку.

Через полчаса Дмитрий выглянул во двор и увидел, что на диване, прямо посреди продавленной середины, сидит Анна Ильинична — в своей мужской кофте, накинутой поверх пальто, с эмалированной кружкой в руках, от которой поднимался пар.

— Куда его? — спросила она.

— На свалку.

— Ну уж нет, — сказала она. — Такой диван — и на свалку. Мне отдай. У меня на кухне как раз места нет, но я найду.

Грузчики, получив от Дмитрия ещё по тысяче, затащили диван на первый этаж, к Анне Ильиничне, и он встал у неё на кухне, загорюдив половину окна. Дмитрий потом ещё несколько раз видел его, проходя мимо её окон: Анна Ильинична сидела на нём по вечерам и читала газету, и от этого вида у него каждый раз что-то коротко сжималось внутри, а потом отпускало.

Книги, прежде стоявшие как попало — учебники рядом с Довлатовым, Ялом рядом с Бродским, — теперь распределились по двум симметричным полкам: профессиональная литература слева, художественная справа, по цвету корешков. Охристые стены покрасили светло-серым. Неровные буквы из самоклеящейся плёнки, которые когда-то казались ему правдой о нём самом, сменила гравировка на матовом стекле у входа.

Герань дизайнер сочла «слишком домашней деталью, разрушающей общую концепцию». Дмитрий возражать не стал. Он забрал горшки домой, донёс их до балкона и поставил в угол, за коробками с летними вещами, решив, что займётся ими позже. На кухонном подоконнике в это время пышно цвела Катина герань в горшке с синими завитками.

Дневник, 24 января

Кабинет преобразается. Дизайнер называет это «терапевтическим минимализмом», и мне нравится сама формулировка: в ней есть точность, есть взрослая, устоявшаяся зрелость. Пространство должно работать на терапию, а не на мою ностальгию.

Забавно вспомнить, как я гордился неровными буквами на первой табличке. Теперь на входе гравировка на стекле. Разница как между черновиком и готовой книгой.

Наблюдение: клиенты чувствуют уровень специалиста ещё до первого слова — по пространству. Это нужно учитывать.

Кабинет открылся после ремонта в начале февраля, и первой новой клиенткой в нём стала Марина.

Сначала, впрочем, появилась её ассистентка — миниатюрная девушка с планшетом, которая минут двадцать обсуждала с Дмитрием условия конфиденциальности («Марина Дмитриевна — публичная персона, любая утечка недопустима»), проверила, не выходят ли окна на улицу, и только после этого впустила саму клиентку.

Марина оказалась выше и худее, чем на экране. Дмитрий узнал её сразу, хотя ни разу не смотрел передачу, которую она вела на федеральном канале уже пятый сезон. Она вошла в кабинет так, будто входила в студию за минуту до эфира, — с идеально выстроенной осанкой, отработанной годами публичности, — и опустилась в серое кресло с плавностью, явно отрепетированной перед десятками камер. От неё пахло чем-то холодным и дорогим, похожим на запах мокрого камня.

— Мне сказали, что вы лучший в городе, — произнесла она вместо приветствия, окидывая новое пространство быстрым, оценивающим взглядом. — Приятно, что хотя бы обстановка соответствует репутации.

— Что привело вас ко мне? — спросил Дмитрий, стараясь не поддаваться на очевидную провокацию в её тоне.

— Скука, — сказала Марина с лёгкой, отработанной улыбкой. — Мне скучно с обычными психологами. Они боятся меня, суетятся, пытаются понравиться. Мне нужен кто-то, кто не будет передо мной прогибаться.

Дмитрий выдержал паузу — достаточно долгую, чтобы дать понять: он не спешит ни соглашаться, ни защищаться.

— А что случится, если я тоже начну прогибаться?

Марина рассмеялась коротким, резким смехом, лишённым тепла.

— Тогда я пойму, что ошиблась с выбором, и уйду через одну сессию. Как уходила от четырёх ваших коллег до вас.

Следующие полчаса превратились в то, что Дмитрий про себя назвал интеллектуальной дуэлью. Марина испытывала его на прочность: вбрасывала колкие реплики, резко меняла тему, проверяла, собьётся ли он, попытается ли произвести на неё впечатление, испугается ли её статуса. Дмитрий отвечал точно и спокойно, не позволяя себе ни малейшего заискивания, и с каждой минутой чувствовал, как в нём растёт азарт — особый, почти забытый со студенческих олимпиад азарт человека, который наконец встретил равного противника.

— Вы первый, кто не пытается мне понравиться, — сказала Марина ближе к концу сессии, и в голосе её на этот раз не было иронии.

— Я здесь не для того, чтобы вам нравиться, — ответил Дмитрий. — Я здесь, чтобы вам помочь. Иногда это разные вещи.

Марина посмотрела на него долгим, изучающим взглядом и встала.

— Запишите меня на следующую неделю.

Её время назначили на вторник, на шесть вечера, последним в расписании. Через несколько недель Катя, застёгивая ему утром манжету, с улыбкой спросила, с каких пор он

бреется по вторникам дважды — утром и в обед. Дмитрий рассмеялся и сказал, что по вторникам у него запись на радио, а там все замечают, даже если ты в наушниках. Катя кивнула и застегнула вторую манжету.

Дневник, 12 февраля

Новая клиентка, М. Публичная персона, очень сильная защита. Всю сессию тестировала меня: провоцировала, пыталась выбить из равновесия. Я не поддался.

Работать с такими людьми — особое удовольствие. Требуется предельная точность: ни одного лишнего слова, ни одной реакции, которую можно использовать против тебя. Похоже на шахматную партию высокого уровня.

Давно не чувствовал себя таким собранным.

Шахматная партия продолжалась и дома, хотя Дмитрий не сразу это заметил.

Был обычный мартовский вечер. Дети уже спали, Катя сидела напротив него на кухне с чашкой чая и рассказывала про мать одного из своих учеников — та пришла в школу и при всех, громко, полчаса выговаривала Кате, что её сын «за два года так и не научился играть ни одной нормальной пьесы», что методика устарела и что она будет жаловаться директору. Катя рассказывала, крутя чашку в руках, и голос её то и дело срывался — то на смех, то на что-то другое.

Дмитрий слушал. Слушал внимательно, не отводя глаз, и одновременно, помимо своей воли, видел, как устроен этот рассказ изнутри: где Катя защищается, где придумывает себе объяснения, чтобы не признаваться в раздражении, где на самом деле злится не на эту женщину, а на бессилие перед чужим недовольством. Картина складывалась сама, слой за слоем, ясная и точная, как снимок на просвет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.